

P2
M74



РОБЕРТ
МОИСЕЕВ

И как гений...



ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

p2

РОБЕРТ
МОИСЕЕВ

M74

В каждый день...

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ

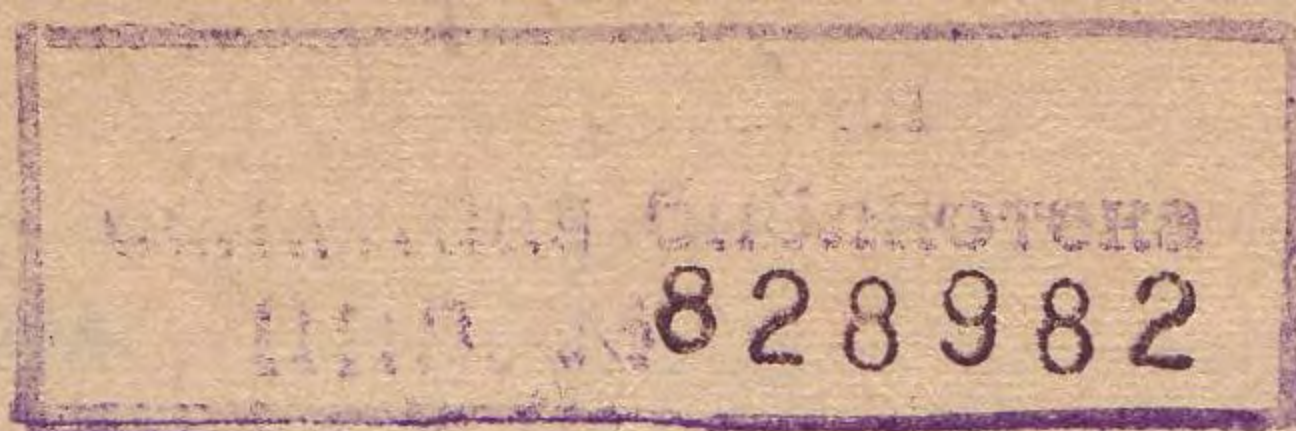


ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАМЧАТСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

1987

КС

ББК84Р7
М74



Читатель знаком с творчеством Р. Моисеева по книге рассказов «Обыкновенные сюжеты» (1983).

Повесть «Иван Петрович» и новые рассказы продолжают ту же тему. Автор умеет видеть человека обыкновенного, в обыденной жизни, видеть его внутренний мир, проблемы личные и общественные.

Рецензент И. Курамжина

М 4702010200—34 87
М142(01)—87

© Дальневосточное книжное
издательство, 1987

ОБМЕН

Виктор Николаевич вернулся из недельной поездки по пионерским лагерям.

Он шел быстрой легкой походкой, помахивая чемоданчиком, и представлял, как жена встретит его ласковым: «Приехал! Проходи, покушай!».

«Хорошо теперь,— думал он,— просторно. И не... стеснительно. Дочка в институте. Сын в армии. И не так скучно без них, как мы с Соней ожидали. Тут и лови молодость, пока внуки не пошли».

Навстречу ему проплыл грузовик с пятитонным контейнером.

«Тяжело идет. С вещами, значит. Кто-то переезжает. Вот уедешь всего-то на неделю, а кто-то куда-то лыжи

навострил. И навострил их, наверное, Николай Никитич. Давно он собирался уехать на свою Кубань, да, видно, и решился».

Свернув к дому, Виктор Николаевич замедлил шаги, перестал махать чемоданчиком, принял солидный вид и степенно, медлительно прошествовал по пустынному двору к своему подъезду. Перед дверью в квартиру он выглядел совсем уже изработавшимся и требующим внимания и ухода.

Виктор Николаевич был человек добрый, покладистый, не умеющий требовать, и напускал на себя такой вид, когда действительно уставал и чувствовал потребность во внимании и уходе и ожидал, что жена должна понять эту потребность сама по одному его виду, без слов, без просьб, которые он и сказать-то не сможет. И еще, думал он, это поможет жене, такой дородной, самостоятельной, уверенной в себе женщине, почувствовать к нему особую нежность и желание приветить.

Он покопался в кармане, добывая ключи из позвякивающих проводов, шайб, гаечек. Дверь открылась, на пороге появилась жена Софья Семеновна в незнакомом цветастом халате и пропела ласковым голосом:

— Приехал! Проходи скорей, покушай! Помойся с дороги, я титан как раз натопила!

Виктор Николаевич вошел, поставил на пол чемоданчик и вдруг ощутил сначала какое-то неуютное отсутствие тесноты в коридоре, а потом, почти без перехода — простор и пустоту в квартире. Он нагнулся расшнуровать ботинки и увидел, что стойки с обувью нет и нет его тапок, без которых Софья Семеновна ступить дальше прихожей не позволяет. Он, разгибаясь, спросил:

— А где тапочки?

Жена ответила из кухни:

— Проходи в носках.

Виктор Николаевич прошел в одну комнату, в другую. В первой было пусто и чисто, только на обоях выделялись невыцветшие пятна, где раньше, до его отъезда, стояла мебель. В другой, большой комнате тоже было пусто, на полу лежали газеты. Виктор Николаевич вышел в коридор, постоял, поискал глазами, куда повесить кепку, которую так и держал в руках, пока ходил по комнатам, и, нагнувшись, положил ее на чемоданчик.

На кухне что-то жарилось, шипел, закипая, чайник, мурлыкала свою «Березовую рощу» жена. Виктор Николаевич пошел на уютные звуки и увидел, что и на

кухне остались только два табурета да горка посуды в углу. Софья Семеновна сидела с очень довольным, просто счастливым лицом и чистила луковицу.

— Так чего ты молчишь? Ты не удивлен?

— А что?

— Как что? Поедем в Хабаровск.

— Давай съездим.

— Не съездим, а поедем жить.

— Как это?

— В совхоз «Центральный». Тебя я устроила в механики совхоза. Хорошо, да? Меня берут воспитательницей в детский сад. Квартирой обеспечены. Все удобства.

— Это к Татьяне твоей, что ли?

— Ну да. Она приезжала. Со сменщиком. У нас квартира в две комнаты, а у них — в три. И они еще четыреста рублей приплачивают. Квартира у них хорошая, теплая, сухая. Таня сама видела.

— Какой сменщик?

— Ты, Витя, с дороги в себя не пришел. Ничего не понимаешь. Конечно, из «Центрального». От Хабаровска два часа автобусом. Иди-ка помойся лучше, да покушаем.

Виктор Николаевич постоял, мысленно сопоставляя грузовик с контейнером с пустотой в квартире, и никак не получалось у него приложить все это к собственной жизни.

— А это не наши вещи сейчас в пятитонном контейнере повезли?

— Наши. Мы с Таней с ним помучились, пока доставали, пока то, се. Пока вещи паковали, готовили. Потом они со сменщиком — на самолет, потому что он вернется уже со всеми оформленными документами послезавтра и станет здесь жить. Понятно? А я — пока грузили контейнер, пока то, се. Вот только что и кончили.

— А что носить?

— Что — носить?

— Ну, носки, костюм.

— Самое необходимое с Таней отправила. И со сменщиком. И нам два чемодана везти осталось. Мы послезавтра летим.

— Как летим? А работа?

— Ты же с понедельника выходишь в совхозе «Центральный» механиком. Я же тебе сказала. Какой ты, Витя, невнимательный. Иди лучше помойся с дороги.

— В лагере тут в одном надо лебедочку починить.

— Витенька, иди помойся с дороги, я все тебе расскажу. Так много без тебя произошло, а ты стоишь и не идешь умываться. Давай скорее мойся, да будем кушать.

— Мне завтра надо ехать лебедочку ремонтировать. Кое-что с утра взять и поехать.

— Да ты у них больше не работаешь, господи ты, воля твоя... И, Витя, ты все еще немытый. Иди мойся.

Виктор Николаевич постоял, глядя, как жена отодвинула белой пухлой ногой газету с очистками лука, шагнула к сковородке и стала ловко нарезать лук и крупными кольцами укладывать на жареную картошку. Ему хотелось что-то спросить, а что спросить еще, он придумать не мог. Каждый из проходящих на ум вопросов ему самому казался глупым, неуместным, способным вызвать раздражение у него, а не только у жены. Потом ему придумалось сказать, что он никуда не поедет, и добавить к этому нехорошее слово. Он этого не сказал, направился в ванную комнату, присел на край ванны и стал соображать, что же произошло. Как это оказалось вдруг, что он и живет и работает совсем в другом месте? Вещи, квартира, работа, прописка.

— Софа, а прописка?

— Ты все еще не моешься? Давай мойся. Приедем, пропишемся.

Виктор Николаевич больше ничего не спрашивал. Мылся сначала холодной водой из-под крана. Посидел на краю ванны. Разделся совсем и вымылся под душем. Молча принял из рук Софьи Семеновны пижаму и полотенце.

Ужинали на кухне. Тарелочки с жареной картошкой и мясом, рюмочки, блюда с огурцами стояли на табуретке. Он сидел на чемодане. Она подкладывала мясо, подавала хлеб, наливала чай и говорила, говорила.

Сестра Таня живет в совхозе «Центральный». Она все продумала, обо всем договорилась. И о работе. И об обмене квартир. А хотелось им, сестрам, вместе, в одном городе пожить давно. Там хоть и не город, но чистый воздух, нет стрессов, нет шума, хорошая должность, работа ему знакома — механик. И все же материк, а не эта проклятая Камчатка, которая уже так надоела. Вот и лета уже вторая половина, а ни тепла, ни солнца, ни помидоров. Одни туманы. И если уже не плаваешь и заработков рыбацких нету, то нечего тут и сидеть. И надо бежать. Тем более, что это — под Хабаровском, сов-

хоз прекрасный, целая птицефабрика, где живет сестра Таня. Она всегда поможет, и вообще в таком возрасте надо в семью собираться. И подумать только, доченька-то учится совсем рядом, в Хабаровске.

Виктор Николаевич молчал. Выпивал рюмку за рюмкой, пока жена не отставила бутылку в сторону, долго пережевывал мягкое и сочное мясо. Молча сложился по пустой чистой комнате, пока Софья Семеновна мыла посуду и что-то наскоро убирала на кухне.

Он молчал, помогая ей раскатывать на полу матрац, расстилая свежую хрустящую простыню, перенося в изголовье оставленные в большой комнате ненужные книги.

Софья Семеновна говорила все меньше, все чаще поглядывала на него ласково, задевала его то плечом, то бедром, посмеивалась над его неловкими движениями, улучив момент, обнимала, крепко прижималась и сразу же отстранялась, смеясь и продолжая заниматься всякими мелкими приготовлениями ко сну. Виктор Николаевич хоть и продолжал молчать, но постепенно сомлел и стал ходить за ней, хватая за руки и тыкаясь в них лицом. Тогда Софья Семеновна погасила свет.

Скоро она, довольная и счастливая, уснула на его руке. Он тоже ждал сна, но сна не было. Опять в голову полезли всякие вопросы.

Виктор Николаевич поднялся, шлепая босиком по полу, пошел на кухню, где только и разрешалось ему курить, открыл форточку, высунул на улицу голову — подышать промозглым густым туманом. Сзади слышалось шлепанье голых ног. Придвинулась Софья Семеновна, белая, крупная, обняла его голые, худые ноги, прижалась к ним щекой и, помолчав, сказала:

— Пойдем, что ли, Витя... Пошли... Там кури...

Проснулся он рано. Светало. Серый утренний свет падал на пол, на голые стены. Виктор Николаевич лежал на спине, закинув левую руку под голову; смотрел в потолок, взглядывал на жену, придавившую головой его правую руку, на ее встрепанные крашенные волосы, на чуть-чуть измятое белое безмятежное лицо с двумя крупными складками около носа, на видные из-под одеяла мягкие обвисающие груди; засопел, втягивая идущий от нее приятный запах: намазалась.

Софья Семеновна проснулась, как будто почувствовала, куда направились его мысли, встретила его колющий взгляд, улыбнулась, потянулась губами к его уху:

— Проснулся? Устал?

Мягко, ненавязчиво придвинулась к нему, потерлась носом о шею. И опять Виктор Николаевич сомлел и потом уснул, как убитый, и проснулся, когда пришло привычное время вскакивать и бежать на работу. Софья Семеновна уже встала и была на кухне: судя по звукам, готовила завтрак.

Когда он, выбритый, одетый, как на работу, вышел на кухню, Софья Семеновна сказала:

— Поспал бы еще. Собраться успеем. День впереди. И я чего-то сдуру рано поднялась по привычке, тебя разбудила.

— Дела есть.

— Какие дела-то? Мы оба уже и выписаны, и уволены. С профсоюзного учета сняты. Твой расчет сделать не успели — туда вышлют. Нам только и осталось, что в кино пойти.

— На работу схожу. Дела сдам. С ребятами попрощаюсь.

— Денег дать? Только не перепивай.

— Не перепью.

Позавтракав, Виктор Николаевич буркнул:

— До свидания.— И ушел, торопясь на автобус, на котором всегда ездил на работу.

Софья Семеновна посидела на кухне, пожевала задумчиво сухую хлебную корочку, потянулась, скучно зевнула и пошла тяжелой походкой к матрацу. Постояв над ним, она вдруг улыбнулась, поправила простыню, одеяло, еще раз потянулась, сладко-сладко зевнула, сбросила халат, оглядела себя, ухватила ладонью складки жира на животе, засмеялась счастливо и легла досыпать.

Виктор Николаевич весь день старался крутиться среди людей, не знающих о перемене в его жизни. Выпросил «за бутылку» у одного знакомого старую передаточную коробку с доставкой ее в мастерскую, сам сделал всю черновую работу, которую обычно делали слесари. С удовольствием повозился с разборкой коробки, перемыл в солярке шестерни. Постоял у станка, выточил две фигурные втулочки. За работой обо всем забыл и опомнился уже в половине четвертого. Вымылся. Снял фартук. Надел пиджак. Ожесточился лицом и сел на ящик с инструментами, чувствуя, что сложилось все очень подло и нескладно. И то, что он восстановил для этой простенькой, но нестандартной лебедки, передать

некому. Самое большое, что может он сделать, это сложить все на верстак в кучу и воткнуть записку.

Он долго сидел, пытаясь представить, как он войдет в кабинет к начальнице и скажет ей, что делается в лагерях, как работает техника и вообще какая обстановка. Но потом он решился только на телефонный разговор.

— Семенова слушает.

— Алла Петровна, здравствуйте, это я. По вопросу лебедочки.

— Кто это — я? А-а, Виктор Николаевич... Вы еще не уехали... Расчет, мы договорились, вышлем позже.

— Я по вопросу лебедочки в лагерь старшеклассников. Запчасти готовы. Лежат вот тут. В мастерской на верстаке я их сложил.

— Ну ладно, дядя Сеня найдет. А что все-таки случилось у вас, Виктор Николаевич? Жена была такая расстроенная, заплаканная.

— Да... так... случилось... Семейные обстоятельства... Так... в общем... надо ехать.

— Ну, понятно. Что же делать? Раз горе.

— Не то чтобы... в общем... ехать надо.

— Ну, до свидания. Всего вам хорошего на новом месте. Если надумаете возвращаться — пишите. До свидания.

В трубке были короткие гудки. Виктор Николаевич долго слушал их, разглядывал шнур, коробку, цифры на диске, стол, грязный полумрак мастерской, потом осторожно положил трубку на аппарат и направился в магазин.

В заднюю комнату временного склада, где к вечеру обычно собирались мужики, занятые техническим обеспечением пионерских лагерей, Виктор Николаевич вошел чуть-чуть под хмельком, неся портфельчик с тремя бутылками коньяка, хлебом, сыром и мелкими зелеными яблоками. Мужиков было шестеро. Поздоровались как обычно, но ему показалось, что сухо и отчужденно. Преодолевая желание оставить портфель и уйти, он прошел к столу, сказал с какой-то глупой, неуместной веселостью:

— Проводимся, что ли?

Из сидящих здесь мужиков о его увольнении слышал только один, и тот не верил.

— Выпить-то выпьем. Раз ставишь. А мы не откажемся.

Виктор Николаевич откупоривал бутылку, резал хлеб и сыр, протирал газетой стаканы, разливал в них коньяк. И когда сделал все это, еще повозился, закрывая портфель и пристраивая его в угол под столом. Потом уже совсем невозможно стало тянуть и надо было хоть что-то сказать, и он встал перед столом по стойке смирно, тяжело вздохнул и произнес речь:

— Ну, давай, ребята. Давай выпьем за отходную мою. Не поминайте дуrom... А еду я главным механиком совхоза «Центрального».

— Чего тебя мобилизовали на сельское хозяйство? Где совхоз-то такой? Чего-то про такой совхоз на Камчатке не слышно было. Новый, что ли, организуют?

— Это под Хабаровском. Не здесь.

— Да ты же вчера еще никуда не собирался. Когда успел?

— Расскажу еще. Давай выпьем. За отходную. Давай.

Когда выпили по первой и жевали хлеб, сыр, яблоки, Виктор Николаевич налил ребятам по второй, по третьей. Стараясь говорить спокойно, рассказывал, что жена и квартиру обменяла, и вещи отправила, уволила и написала его, зачислила на работу и сняла с учета и что сам он ничего обо всем этом не знал и до сих пор в это не верит.

Мужики слушали его по очереди, то один, то другой. Остальные разговаривали о том, ради чего они и собирались вечерами в этой комнате: о деле, о том, что им надо сделать завтра всем порознь, в разных местах, но что должно составить одно большое или маленькое, но сделанное целое дело. И Виктору Николаевичу в этом деле места уже не было. Он пытался вставить в разговор свое — о лебедке, но дядя Сеня прервал его:

— Да отъезжай спокойно. Железки твои я видел. Полежат дня два, а там отвезем да и сделаем твою лебедочку. А и не сделаем, так все равно они на ней не работают, а больше балуются. Пешком поносят пока, если очень надо. Целей лебедочка-то будет, а?

И хотя не оставался Виктор Николаевич без собеседника, хотя деликатные ребята и задавали ему свои, как им казалось, интересные для разговора вопросы, хотя отвечать на эти, по сути-то одни и те же вопросы он старался поразнообразнее и разговор не прерывался, он все думал, что все их вопросы сводятся к одному: как он допустил, что жена распорядилась им, как багажом.

Никто не спрашивал, интересна ли работа в этом совхозе, хороша ли будет там жизнь, не потому, что это не было важно, а потому, что везде, куда попадет работающий мужик, он будет работать, как надо, и о чем тут говорить. Виктор Николаевич вспоминал, что обычно при проводах тот, кто отъезжал, много хвастал о хорошей работе, квартире, зарплатке, климате, огороде, саде, ценах на новом месте. И его тоже подмывало говорить все это, и уже собирался не один раз заговорить обо всем, что сообщила ему Софья Семеновна со слов этой змеи, сестры своей, Таньки. Но что говорить, если ты не только совхоза этого не знаешь, но и услышал о нем меньше суток назад.

Виктор Николаевич смотрел на ребят, своих товарищей, и видел, что вот они кончают разговоры о деле и замолкают, и сидят уже, наклонив голову и рассматривая руки свои, мозолистые ладони и сильные, ловкие черные пальцы, и вот-вот кто-то из них встанет и скажет: «Ну, пошли, что ли».

Он разлил по стаканам остатки из второй бутылки, откупорил третью, поставил ее на середину стола, прикрыв горлышко пробкой.

— Давай посошок, да я пойду. Собираться мне еще. Дел много, а самолет завтра.

Подождал, пока ребята выпили, взял портфельчик, попрощался со всеми за руку и ушел.

Когда хлопнула дверь, дядя Сеня забил пробку в третью бутылку и заторопил всех:

— Доедайте, давайте, быстрее. Да и пошли.

И пока ребята дожевывали сыр, он сказал:

— Вот... смотрите и учитесь, какую бабы силу взяли. Это уже и не эмансипация. Это уже издевательство. Где теперь такого механика найдешь?

А когда задумчивый неженатый Коля Федин зашумел, что все это незаконно, что пусть Виктор Николаевич только заявит, как отменят и обмен квартиры, и выписку, и увольнение и еще всыпят тем, кто все это незаконно оформил, дядя Сеня махнул на него рукой.

— Ничего он не напишет. И не заявит. Ну кто это на жену напишет? Только что тот, у кого жены нет. Или паршивец, совсем неисправимый человек. Тут уж, если так получилось, надо разбираться без заявлений, домашним средством.

— Да как же домашним? Если она личность человеческую обменяла! Это же вопрос не домашний, а обще-

ственный, очень широкий и социальный. Вы понимаете? Дело не в работе. И не в квартире. Она обменяла личность! Вы понимаете?

— Ты, Коля, неженатый. И женатым еще не был. И ты, значит, еще не личность, а пол-личности... А они жили больше двадцати лет... Дети вон какие... И внуки скоро... Куда они оба теперь порознь? Им теперь доживать вместе надо... А баба? Ну что — баба? Они всегда на чем-нибудь свихиваются... Эта вот свихнулась на переезде... К родственнице потянулась... Перекипит — пожалееет... А ему с ней надо, он мужик крепкий... Тут, ведь так... или ты мужик... или никто.

Все это дядя Сеня договаривал одному Коле, запирая замок и пломбуя дверь склада. Остальные ребята уже разбежались, и они вдвоем молча шли рядом до автобусной остановки.

Виктор Николаевич пришел домой часам к десяти. Софья Семеновна, скучная, встретила его у порога.

— Пришел? Проходи, покушай.

Умывшись, он прошел на кухню с угрюмым настроением и, как это бывало у него под хмельком, с утроенной угрюмостью на лице. Соня сидела тихо у окна, облокотившись на подоконник, подперев щеку ладошкой.

— Не зажигай свет, Витя, посидим так. Я тебе накрыла... Сам покушай... Я не хочу.

Виктор Николаевич подошел к жене, постоял так же тихо, не дыша, наклонился к ней и ткнулся носом и губами ей в плечо. Она повернула к нему лицо и прижалась щекой к уху, и он слышал, как она тихо плакала.



Николай Михайлович Ермаков,ловец из Хайлюли, рыбачил на МРС*, на ставных неводах, зимой — не отказывался и на вентерях. Мужик много поживший, на первый взгляд — старик, в делах — остойчивый, физически — еще крепкий. Не говорил, что собирается на пенсию, хотя по возрасту — пора бы.

Но пенсионных разговоров среди сверстников-приятелей не чурался.

— Черта ли, — говаривал он, — в ней, в пенсии, если она, на круг взять, разов в восемь менее, чем рыбацкий заработок? Нет, я на пенсию жизнь доживать не собираюсь.

На пенсию уходить будто бы не собирался, хорохорился, однако — хотя крепость физическую очень хорошо ощущал, любил и умел удачно показать — чувствовал, что в море ходить как следует уже не может.

Чего-то не стало хватать: то ли скорости в руках и ногах, то ли легкости на подъем, то ли азарта. Наверное, и силы, честно бы признаться. На приличный рейс еще хватало, а на путину целиком — тело роздыху хотело. И душа от моря тянулась.

А голова — не соглашалась. Явись у Николая Ермакова мысль: «А не сил ли поубавилось? Не пора ли с морей уходить?» — выкинул бы он ее, как чужую.

«Еще чего? — подумал бы. — Силы нехватает!? Так ишо пока быть не может! Шустрости — да. А сил — нет!»

Шустрости же, так полагал о себе Николай Михайлович, у него с самого малого возраста не хватало. И не от ущербности, а от силы и «сурьезу». Сильному и серьезному шустрить и суетиться ни к чему.

Поэтому постепенно подбирал Николай Михайлович Ермаков посторонние, пенсии не касаемые, обоснования к уходу на берег. Себе — доказывал, другим — нечаянно и как бы с сомнением намекал.

Нет! Не своя, ермаковская причина может его от рыбалки отставить, а разве что — жизнь подопрет: внуки в школу ходят без надзора, старуха запилила и вообще.

Жизненный курс на пенсионный возраст Николай Михайлович, предусмотрительный мужик, проложил дав-

* МРС — морской рыболовный сейнер.

но, взглянув на бытие родичей, не решившихся когда-то, подобно ему, махнуть на Север.

«На родину поедem. Дом заведем. С огородишком, с садишком, с тепличкой, с гаражом. С машиной. С лодкой моторной. Будем растить ягоду раннюю, фрукт, овощ, зеленюшку, торговать их в городе. Со своей машиной — самое выгодное дело. Я буду — по технике, по рыбалке. По хозяйству. Старухино дело будет — огород, рынок.

Наедут в отпуска дети да внуки — летом будет им самая отпускная благодать. Фрукт и овощ — не покупной. Солнце — вот оно, на небе. Река с лиманом — по-лощись.

А вот уже как плюс к этому — пусть будет и пенсия, на семечки, я не возражаю. Ну, и плюс, конечно, — что сейчас поднакопим на книжке, и чем больше, тем лучше».

Курс свой излагал семейству отдельными тезисами, и не всем сразу. То одному, то другому, а то и, задумавшись, самому себе.

Один тезис — сегодня, другой — послезавтра, а третий — в позапрошлом году. Не замечая этого, полагал, что все с курсом ознакомлены и согласны.

Даже старуху свою, Ольгу Никитичну, в этот курс полностью не посвятил. И не потому, что жалко сказать: надобности не случилось.

Что жить будут отдельным собственным домом с огородом, а не секцией в большом доме, ей, старухе, он полагал, должно нравиться, хотя она, старуха, ни разу не высказалась: улыбалась да помалкивала. А где будет дом: у него на родине, у нее на родине — какая разница? И у нее на родине есть фрукты и речка. Он не против.

Ольга Никитична была не первой его женой. Первую уже больше десяти лет, как машина задавила. О первой жене вспоминал Николай Михайлович не часто, обстоятельно вспоминать вообще редко приходилось.

«Надо же, понесло ее, покойницу, через дорогу, к магазину, не оглядась. Торопилась, что ли? Нельзя про нее так неуважительно: «Торопилась. Не торопилась». Нету ее, какая ни была. Чего там, хорошая была старуха».

А Ольга Никитична тогда вдовела, уже лет с пяток. Первый муж, тоже рыбак, летел из отпуска с сыном. И разбился самолет.

Годов ей было менее сорока, моложе Николая Ми-

хайловича заметно. Работала в детском саду, на чисто-плотной работе. С огородом возилась. Хотя зачем бы ей, одиночке, этот огород? Получилось, что на весь поселок двое они оказались холостые в подходящих возрастах.

Бабье поселковое, еще первую старуху не схоронив, скорбя и причитая, уже — в мыслях — их переженили. Отождав, отвздыхав, оплакав «сорокадневку», начали бабьи подготовительные работы и своего достигли: сошлись Николай Михайлович и Ольга Никитична.

Удачно сошлись.

Он — она считала, — хоть и бирюк, молчун, а человек надежный. И мужчина крепкий и ласковый.

Она — он считал, — кроме того, что и во вдовстве проявила хозяйственность и строгость, оказалась душевной и подход к человеку мягкий имела. А что не совала вперед себя свою грамоту, было — для женщины — совсем удивительно. Помолодел Николай Михайлович!

С ребенком не получилось. Врачи не велели: поздно, опасно. Поздно — как сказать. Опасно — дело другое.

Но им и ермаковского семейства хватило. Дети, правда, выросли, зато внуки косяком пошли.

Дела семейные у Ермаковых решались, как твердо считал Николай Михайлович, семейным общим советом, на котором он, Ермаков-старший, хотя и несомненный глава, никогда не давил. А что дела делались только по его рассуждениям, так на то он и глава, чтобы мудрее всех рассудить.

По молодости, правда, в таких советах особой нужды не было: не разгибались от работы. Потом, при Ольге Никитичне, когда Николай Михайлович ни единое дело не начинал, не объявив громко о предстоящих свершениях, дети, взрослея, стали — поздно заметил! — ловко его предначертаний избегать. А становясь на собственные ноги, без шума, каждый по своей судьбе, как жизнь заладилась, отделились на свои дома, на свои хлеба, все семеро его детей. Осталось ему семейные советы проводить с одною своею старухой, с Ольгой Никитичной.

Отделяясь, все — и сыны, и дочери — говорили, по-ермаковски покойно и распевно: «Ты, батя, как хочешь, а мы для себя пожить хотим. И тебе советуем: поживи для себя, хватит хребет-то ломать. И материн хребет пожалей».

Это они уже на дом намекали, на знаменитый ерма-

ковский дом, который без них, без детей, приходилось достраивать.

Не цепью же детей приковывать, не ремнем же пороть?! Идите! Живите, как хотите!

Хотя дом, который он для них же, для семьи гордился, — уже стоит.

И какой дом! Диво!

Когда, давным-давно, просил правление разрешить построить такой дом, много над Ермаковым напустились. Даже спор был.

Главбух сказал, с подковыркой, что, мол, миновало время созидать чертоги для библейских семей.

Николая Михайловича затрясло, до того возмутился. До сих пор помнит про это, про библейскую семью.

— Не такая, — говорил главбух, — сейчас политика, чтобы семейным детям при родителях жить. Политика сейчас на то, чтобы каждому человеку свой угол, свою квартиру.

— Ну и что!? — топорщился Ермаков. — Что же я, Ермаков, не построю дом, где бы у каждого свой угол был?!

— Так у тебя семейство какое? Детей — пять? Шестой на подходе? А вперед смотри? Вырастут? Попереженятся? Внуков хотя бы по двое наклепают? Это сколько? Это — двадцать шесть человек, с вами, с родителями, если считать! Это какой же нужен дом?

Заговорили его правленцы, зашутили.

Озлился он, замолк, засопел.

Махнуло правление рукой и выдало бумагу: «А-а, строй».

Знатный получился дом. Из рыбаков — настоящих, хозяйственных — ни одного не было, кто бы не похвалил.

На крутом склоне. Два этажа, да еще один — наполовину в земле. Семь окон вдоль, три поперек. С верандами. С двумя гаражами, неизвестно для чего.

С моря издалека виден: яичко. Сам — белый. Крыша железная — в яркую зелень крашена. Ставни — синие с красным. Две трубы дымят живым дровяным дымом. А?!

В последнюю — так решил, никому не говоря — путину снарядился Николай Михайлович молча, как на похороны.

Мэрээска заквакала мотором, цилиндрами, дернулась и попилила в море.

Бабы стояли на пирсе недвижимо, не махали. Все, как одна, сцепили руки перед собой на свободном весу.

Мужики, счастливые первым весенним выходом в море, сочувствовали бабьему горю из приличия, не особенно разделяя. Как только отчалили, занялись делами, редко взглядывая на пирс.

Команда была занята работой, из года в год одной: на каждом висело по три-четыре дела зараз. Развесил их по стольку на брата — шкипер. И все знали для чего: у шкипера принцип — непрерывной работой втягиваться в путинный режим. В душе — кто сердился, кто посмеивался, но, глядя, как шкипер истязает работой и себя, молча переделывали иной раз даже и ненужное.

Когда мэрээска выходила из бухты и белые пятнышки поселка уползали за мыс, Николай Михайлович был в делах. Мельком бросил последний взгляд, выделил «свою» белую крапинку на серых сопках: всего-то вторую весну эта крапинка — белая. В позапрошлом году стены еще не белеными стояли.

И вдруг — не бывало такого! — накатило понимание: старухе-то каково в этой крапинке одной!

Зимой еще, получив квартиру, ушел на свои хлеба последний из детей, засидевшийся было в парнях третий сын. Не услышал отцовского намека, что уходить, может быть, и не надо.

Намека — не услышал. А просить бы Николай Ермаков и не сумел, а приказывать и не стал за полной бесполезностью приказом воздействовать на ермаковскую породу.

И ушел сын. И стал дом пуст.

Теперь только накатило: старуха в этом огромном доме одна. Представил, как остается человек в доме один и ходит по всем двум с половиной этажам, и метет полы, и выглядывает в окна. Сколько времени надо: поглядывать во все, чуть не сорок, окон, зачем только они понаделаны, не упомнишь?

Гундосил за спиной шкипер, вычитывал проповеди молодому «мотылю» Валерьяну.

«Хоть бы уж ты не вякал под руку», — в первый раз за всю совместную работу подумал Николай Михайлович о шкипере, с которым душа в душу рыбачили уже почти двадцать лет.

Летом рыбаки заходили в поселок три раза, очень ненадолго. Хорошо, если успевали в баньке помыться,

поужинать по-семейному, в кино пройти со счастливой женой под ручку.

Обычного равновесия душевного у Николая Михайловича не складывалось. Видел Ольгу Никитичну наедине с домом и чувствовалась виноватость, а виноватыми Ермаковы не бывали и быть не могли.

На дом — не смотрел. И на Ольгу Никитичну старался не смотреть: совестно.

Волей-неволей смотрел на огород, где плотно поднялась картофельная ботва, наливалась капуста, лепилась на грядках всякая мелочь. Да цвели цветы: у дорожки и под окнами.

Старуха цветы любила, а Николай Михайлович проку в них не видел.

Вот уже тридцать с лишком лет видит он зеленую землю в хозяйстве своем только раза по три в году, когда вот так, по рыбацкой нечаянности, приходит в поселок, хорошо, если на сутки. Знает он землю весной, когда заплатами из-под снега вышла и, черно-серая, начинает парить под апрельским солнцем. И осенью: серой, подмерзшей, когда урожай снят, а трава пожухла. И зимой, когда земли-то и нет, а есть снег, лед да голые деревья.

С чего бы ему любить цветы?

Цвет жизни вблизи видит он в море, где рыба. Каково-то радостно, когда рыба, блестя фиолетовым, зеленым, синим, а то и красным, желтым, розовым, льется в трюм, на палубу! А краб? А звезда морская? А разноцветная надоедливая мелочь, которая насуется в ячеи и мешается под ногами!

Нет, в море Николай Ермаков все знает, понимает и чувство ко всему имеет. А что можно чувствовать к цветочкам, если видеть их мельком, у дорожки, когда входишь в дом, да в изголовье, когда укладываешься спать?

Сейчас же, удивительно, с первого взгляда стало думать: цветы — красиво, пусть старуха тешится, разводит их в том дворе, который будет у них там, на его родине.

И загорелось у Николая Михайловича — едва удержался — все побросать, дом с добром пораспродать, уехать отсюда с лапушкой своей, своей старухой ненаглядной. Насовсем уехать и от детей неблагодарных, и от моря надоевшего, и от мятых сопок, и от вечной промозглости.

Завспоминалось, как пожаром осветило: детство, сох-
лая, желтая колышется степь, жарит солнце, теплом
манит лиман.

И сказал он Ольге Никитичне, как отрезал: «Порас-
продавай дом. Путину достучу и уедем».

Ольга Никитична не удивилась, помолчала, спросила
мягко:

— Случилось что?

— Хватит тебе хребет ломать. Молодые пусть лома-
ются. А тебе самое время пожить, где тепло. Здоровье
поправишь.

— Я не хвораю, Коля.

— Вижу, как не хвораешь.

— Неожиданно как-то. А дети?

— Переживут.

Дом продавался трудно.

Николай Михайлович рыбачил и рыбачил, не зная
подробностей, а Ольга Никитична не говорила, сколько
исходила, испросила, наслушалась.

Оказался дом — противозаконным. Присмотрелся к
нему чиновный знающий люд и увидел все сразу: раз-
решение правления — еще не документ, этажей слишком
много, а уж площади-то жилой в несколько раз больше,
чем положено по законам.

— На семью же, — отговаривалась Ольга Никитична.

— На какую? Не видно, — отвечал чиновный человек
и был прав.

Ольга Никитична забралась повыше, жаловалась,
признавала ошибки, просила помощи, всем надоела, и
сказано было чиновникам: «Пусть ее продает, только
отстанет».

Тогда выяснилось, что одному покупателю такой
большой дом не продашь, а несколькими — пойдут их,
найди.

Николай Михайлович, плохо сведущий в азбуке су-
хопутной жизни, удивлялся, что Ольга Никитична так
долго продает дом, но — раз поручив ходить по конто-
рам — не торопил. Его, мужицкое, дело — на море гор-
батиться, деньги зарабатывать. Старуха — на суше,
пусть и ходит по конторам.

Недовольство Николай Михайлович высказал, когда
узнал, сколько за дом предлагают. За свои хоромы, по-
божески, без жадности считая, меньше пятидесяти ты-
сяч рублей Ермаков получить не располагал.

Упрекнул. И услышал: еще и благодарить должен!

Один только покупатель и нашелся. Он-то и дает
ровно по «страховке» — семнадцать тысяч. И кто? Род-
ное правление! Согласилось, спасибо ему. Еще и вопро-
сов поназадавало. Кто строил, сам или нанимали? Где
брали материал, не ворованный ли? На каком транспор-
те возили, не на левом ли?

После такого — ноги Николая Ермакова не могло
остаться в несправедливом месте. Запретил продавать.
Оформил доверенность на любимую дочь. Велел ждать,
когда дадут настоящую цену.

Устроил отвальную. Собрал все село.

Дня лишнего не задержался Николай Михайлович:
кивнул детям, перецеловал внуков, подхватил чемоданы
и был таков — растаял самолет в зимнем небе, только и
видели.

Остановились в родных ермаковских местах.

Пожили в гостях у брата. Поприсматривались. По-
приценивались.

Купили дом в три комнаты. С сараями, клетушками.
С молодым садом.

Весной — брат учил — начались заботы: подрезать,
рыхлить, удобрять, опылять, поливать, прыскать из пры-
скалки.

Дети не приехали. Так совпало.

К середине лета сад Николаю Михайловичу надоел,
захотелось другой работы: не собирать клубнику (одна
от нее изжога!), не рвать вишню и черешню (косточка-
ми не отплюешься!).

Ольга Никитична день-деньской крутилась в саду да
на кухне: собирала, чистила, мыла, кипятила, закатыва-
ла компоты, варенья, соленья, маринады.

Николай Михайлович поначалу смотрел на эти заня-
тия одобрительно, потом — косился, и, наконец, бурк-
нул, как бы самому себе: «Торговать надо» — и степенно
ушел по рыбацкому делу.

Он втягивался ходить на рыбалку в ночь: занятие
памятное с детства, похожее на привычное дело жизни,
азартное, натужное, мужское. Имелась, однако, и непри-
ятная сторона: потаенная это была рыбалка. Дважды
испытал Николай Михайлович унижительное ожидание
неминуемой встречи с рыбнадзором.

Не понравилось Николаю Ермакову состояние мел-
кого загнанного жулика, который должен прятаться, та-

иться и хитрить. А Ермаковы — не прятались! Не таились! Не хитрили! Напролом — ходили! Дурнями — бывали, случалось! А жуликами — нет!

Не понравился и брат, меньший в семье, росший на денежных переводах Николая Михайловича с Севера.

Вырос. Метко поучает, как жить. А в предчувствии рыбнадзоровых объятий — мельтешит, пакостит словами, полушепотом поминает: кому из рыбнадзора он кум, а кому кум его кум, и как он ничего не боится, и где он весь рыбнадзор видел.

Николай Михайлович молча поглядывал на рыбу, на сеть, на воду, на небо, на темный силуэт берега и медленно думал: «Неужто все так поменялось на свете? Были твердые в жизни мужики. А родились суетливые паскудники и сквернословы».

В эту ночь рыбнадзора поблизости не оказалось, а гнилое чувство возможности унижительных «прятусек», объяснений, разоблачений — было.

К утру Николай Михайлович решил купить лодку. Рыбачить правильно: не таиться от каждого всплеска.

Не показываясь старухе, Николай Михайлович поставил к очагу ведро с рыбой, прошел в спальню.

К обеду была свежая ушица. Николай Михайлович, хмурый, похлебал, молвил спокойно, пересилив накатившее от утренних мыслей раздражение:

— Лодку купим.

— А ты не машину сначала хотел?

— Машину — само собой. А сейчас — лодку.

И, не дождавсь ответа:

— А фрухту надо продавать. Сад себя оправдывать должен.

И, помолчав:

— Чего не отвечаешь?

— Не нахожусь, что сказать. Я же, Коля, торговать не умею.

— Учиться надо. Ничего зазорного.

— У нас в семье не торговали никогда. И не работала я, Коля, на продажу. Есть лишек — говорю людям.

Кому надо — придут, возьмут. Сами захотят — заплатят.

— Воспитание. Баре.

— Не баре. А воспитание — такое, ничего смешного. Да ты и сам-то, Коля, смотрю, торговать не сумеешь.

— Сумею. В детстве — нечем жить было, мать гоняла, торговал.

— То — в детстве. И — жить нечем было. А сейчас?

— Я и не умею, так смогу. У меня воспитание попроще.

— Ты, Коля, не сердись. Я хочу сказать — зачем?

— Другие — торгуют?

— А нам зачем? Нам чего не хватает?

— А другие — от нехватки?

— Не буду я торговать, Коля. Лучше больше не поминай.

Помолчали. Ольга Никитична сидела прямо, твердо уперев белые локти на стол.

— А куда фрухту девать? Раздавать? Кому надо — придут?

— Давай думать.

— Нинку попроси продавать.

— Ты же видишь, Коля, у меня с ней не заладилось. Жена она моему брату, а сердца к ней у меня нет. Я ее не попрошу.

— Сам попрошу.

— Как хочешь.

Нинка, Нина Анатольевна, веселая черненькая говоруха, согласилась «за так», по-родственному, продать разок-другой Николай Михайлычевы фрукты вместе со своими.

«Куда бы делась? — подумал Николай Михайлович. — Успела, полторы сотни в долг навывпрашивала».

Подумал и, откуда что взялось, лихо ухмыльнулся и благодарно ткнул Нинку большим пальцем в плечо. И Нинка, сразу подхватив улыбку, не удержалась, кольнула Ольгу Никитичну словом. А Николай Михайлович — не одернул, пропустил на сей раз, будто не слышал.

И Нинка, перемену почуяв, пошла сыпать пакостными словами.

Не понравился себе Николай Ермаков, ушел в свой сад и дотемна отбирал в корзины наилучшие фрукты: первая торговля, святое дело, должна пройти без осечки.

Ольге Никитичне слова не говорил, и она молчала, в сборах на рынок не помогала и, хотя у нее своих дел было невпроворот, крепко этим обидела.

Выехали затемно, а раненько утречком выставилась Нинка на городском базаре, в «своем» ряду, на «своем» месте, между седым мужиком и старой бабой с дальних хуторов.

Николай Михайлович издали оценивал ее торговую

сноровку. Прохаживался по раннему, веселому, солнечному базару. Радовался теплоту на душе: вспоминалось хорошее.

Довольный жизнью, завтракал в чайной. Хотелось веселым словом перемолвиться с Ольгой Никитичной, испытать удовольствие от правоты своей.

Вечером выложил перед женой выручку — сто шесть рублей. И сам не ожидал.

— Клади, мать, на книжку!

Ольга Никитична приняла рубли сухо: трудно вошла во вкус.

Опять в одиночку собирал Николай Михайлович фрукты в корзину до темноты. Ольга Никитична делала свои компоты, на суровые взгляды добро улыбалась — расхотелось воспитывать.

И другой торговый день прошел удачно: сто двадцать три рубля!

На что привычен был к большим деньгам Николай Ермаков, а приятно удивился.

Заприкидывали мозги — раньше бы! раньше бы начать прикидывать! — сколько денег соберется за неделю, за месяц, за сезон. Получалось: три года — и окупаются дом, сад, машина и начинается — голый достаток!

Эти же самые расчеты частенько рассчитывали с ребятами, когда пережидали в бухтах свирепые осенние циклоны, когда отлеживались в обхлестанной дождем палатке, переживая за ставник: выкинет, не выкинет штормом на берег. Рассчитывали, озирая холодное недоброе море и в сердцах обещая себе завтра же отбыть в теплые края.

И третий торговый день настал.

Попривыкший, обласканный азартом и удачей, прохаживался Николай Михайлович по базару, прикидывая себя и Ольгу Никитичну к торговому делу.

И допрохаживался: в Нинкином ряду поднялся крик.

Сообразить ничего не успел Николай Михайлович, как мигом занесло его в укромный угол, за киоск, откуда, опасливо выглянув, убедился: касался крик не его товара.

Нина Анатольевна, братова жена, уверенной скромностью оттеняя непричастность к скандалу, перекладывала фрукты в кучках, криков вежливо не замечала.

Скандалили вокруг седого мужика.

Мужик серчал, разевал круглый зубатый рот:

— Сама попробуй, выходи!.. Попробуй, раскулачь!.. Я — трудящийся!

«Помалкивал бы», — мысленно советовал Николай Михайлович, ощутив наплыв противной, как и на ночной рыбалке, тоски и неуверенности.

Помалкивать мужику, воистину, было бы мудрее. Сиплые реплики только распаляли женщин, крики становились крепче, звонче, наполнялись обобщениями.

— Спекулянты! Детям ягод хороших не купишь! Я — больше работаю, а столько не имею! Кто — трудящийся! Ты, черт старый, на государство дня не работал, всю жизнь на рынке торчишь!

Слышал Николай Ермаков такие слова еще вчера, но не прятался от них, а молча поддерживал их справедливость со «своей», как бы покупательской стороны прилавка, не одобряя только визгливое исполнение.

Но сейчас слова обратились и к нему.

— Хапуги! — кричали женщины.

И не выдержал Николай Михайлович: бочком выбрался из укромного места и ушел с базара.

Ходил по городу, будто незнакомому, будто внове его видел.

На улицах было тесно, сновали курортники.

Думалось о правоте истошно вопивших женщин, наверное, действительно, честно работавших на государственном деле, которое бешеного заработка, известно, не приносит. Сколько они могут заработать в том же совхозе? Да самое большее — три тыщонки в год. А сколько может этот мужик за год наскрести, если еще и тепличку с цветами на зиму оборудует? Нет, мужик делает несправедливо: должен он работать на государство, как все. А сад — добавка.

Думалось и о правоте человека, копающегося в земле. Не любя эту работу, Николай Михайлович чувствовал от нее тройную тягость, а потому и допускал в мыслях: справедливо брать за плоды этого труда подороже. В самом деле: копай, поливай, прыскай, назем вороши, колыхай земельку — разве это денег не стоит?

Всплывало живучее неприятие людей, несправедливо получающих высокий доход. Сам он, Николай Ермаков, получал в рыбаках очень много, но за какой труд! Никто не упрекал и не смог бы упрекнуть рыбака заработком за честный труд! Вот там, воистину: пойдя, попробуй! У Ермакова даже кости заныли, захотелось рыбацкой работы, чтобы хребет трещал.

...Корзины с рынка нес молча. Грузил в машину молча. Ехал молча.

Хитрюга Нинка все поняла — помалкивала и только в станице сказала, как бы сочувственно:

— Привыкать надо. От крику не помрешь. Выручка стоит, чтобы всяких дураков не слушать.

Николай Михайлович не ответил, вылез, цепляясь локтями и коленками, из братнина «Москвича», потянул корзины с заднего сиденья.

Нинка, весело улыбаясь, подала перевязанную резинкой выручку. Николай Михайлович буркнул: «Возьми за труды» — и зашагал во двор, держа корзины в оттопыренных руках, торжественно испуская позор.

Ольга Никитична закатывала банки с вареньем. На столе была прикрытая крышкой тарелка и кувшин с компотом.

Николай Михайлович прошелся по двору, пнул цветок — только лепестки брызнули.

— Случилось что? — погода, спросила Ольга Никитична.

— С чего взяла? — погода же, ответил он.

— Цветы-то никогда не пинал.

— Интер-р-ресно рассудила. Цветы пинать нельзя. А людей можно?

— Неприятности?

— Нет. — Николай Михайлович подумал. — Не у меня.

— На рынке.

— На ры-ы-ынке! — передразнил Николай Михайлович, устыдился неожиданно скандального тона, и буркнул: — Помолчим давай.

Через полгода, оставив квартировать в хате порядочного человека, с условием ухаживать за хозяйством, в свирепые морозы, в ледяные ветры появились они в Хайлюле. Поселились в своем, так и не проданном доме. Дети появлению обрадовались, сельчане не удивились. Ольгу Никитичну взяли работать в садик. Николаю Михайловичу, по возрасту, предложили выбрать, что зимой по силам. Выбрал — на вентери. Председатель не усомнился, сказал: «Иди, рыбачь». Через две недели бригадира — с желудком — увезли в больницу. Попросили Ермакова побригадирствовать. Душа мякла, тешилась: отказался.

— Не привык командовать. Учиться — поздно, не же-

лаю. Молодому — помогу. А я — уже недолго работник. Вернувшись с вентерей, готовился к летней путине, отдыхал, разговаривал на степенном застолье со сверстниками-приятелями.

— Да нет, — говорил, — народ там, в общем взять, не плохой. Но жадных — больше, это тебе не Камчатка. Тут — один куркуль на всю Хайлюлю: сорок свиней на воспитании. Так в Хайлюле он — стесняется. А там бы — не стеснялся. Еще один, правда, чуть было в хайлюлинские куркули не попал: построил, понимаешь, не дом, а башню вавилонскую.

Сверстники улыбались.

— Не радуйтесь, не получится из него куркуль. Захочет правление — не возражу — оставляю себе пару комнатешек, остальное продам под общежитие. Пусть молодые специалисты проживают, не жалко.

Дети заговорили было, чтобы рыбалку бросил, хоть один год дома посидел — объяснениями не удостоил.

Когда семейство собралось за один стол на праздник, а самая доверенная дочь спросила, почему все же так неожиданно вернулись, а Ольга Никитична выручила, первой сказала, и не особенно соврала: «Я упростила. Соскучилась — невыносимо. Да и отец часто внуков поминал», — Николай Михайлович задвигал бровью и буркнул строгим от хороших чувств голосом, объяснил:

— Наговоришь тоже. Надоело лодыря гонять, вот и приехал. Цельный год лодыря гонял. Теперь отрабатывать — старости не хватит.

— А сад как же?

— А никак. Вам его покупали, вы и разбирайтесь. А мы со старухой решили: как жили, так и порем.

Дочь засмеялась: очень уж не похоже было, чтобы собирался помирать счастливый родитель.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Иван Петрович	3
-------------------------	---

РАССКАЗЫ

Обмен	36
Фробишер-бэй	45
Шапочка с «перушком»	60
Уек пошел	75
Мозаика	89
У семи нянек	103
Унты	130
Дом	144